

Ветер, словно расшалившийся ребенок, то едва, как-то игриво, веял, то обрушивался со всей силы; то внезапно затихал, то снова неожиданно резко дул, тревожа морскую поверхность, отвечавшую ему мелкими колкими волнами, и осыпал набережную и редких прохожих брызгами, больше похожими на туманную взвесь, оседавшую и поблескивавшую на предметах, как иней.

Я не чувствую ни сырости, ни холода и не разделяю детской жизнерадостности ветра, только безотчетно все поправляю и поправляю сдуваемую на глаза прядь волос, не догадываясь, что можно просто заправить ее под шапку. Вспоминать, думать, размышлять у меня получается плохо — отстраненно, без эмоций и желания что бы то ни было делать. Я вообще мало что чувствую и ощущаю. Уже давно.

Четыре месяца и двадцать два дня назад мой мир стал стерильно-бесчувственным. Все вокруг я вижу в серо-черном цвете, лишь не-

много окрашенном оттенками, словно сильно размытая водой акварель на листе бумаги, звуки слышу приглушенно, как через толстый слой ваты, ну а чувства и ощущения практически исчезли — ни запахов, ни вкуса, ни боли, ни страха и обиды. Ничего, словно я уже умерла и наблюдаю эту странную суетливую жизнь из какого-то другого измерения. А может, мне просто кажется, что я еще живу? Четыре месяца и двадцать два дня. Зачем-то я считаю дни — это единственное, что я делаю осознанно.

Ветер снова кинул мне на глаза прядь волос и обдал мелкими солеными брызгами, я откинула волосы и отыскала взглядом Митю, весело беседующего со знакомым рыбаком.

Мы во Франции, в Трувиле, на рыбном рынке. Очень раннее январское воскресное утро. Наверное, холодно — не знаю, мне безразлично, но люди кутаются в одежды, прячут носы в высоко поднятые воротники, поеживаются. А я забыла перчатки, вспомнила про них, когда обратила внимание на свои голые руки, и спрятала ладони в рукава пальто, чтобы Митя не заметил. Иначе он непременно побежит за перчатками и шарф еще какой-нибудь прихватит для тепла, и примется кутать меня, и испереживается весь, что недоглядел, и станет

МОЙ СЛИШКОМ БЛИЗКИЙ ДРУГ

разговаривать со мной, как с душевнобольной, напоминая в десятиmillionный раз, что надо за собой следить...

А у меня все пусто внутри, вытравлено, мне ничего этого не надо, мне даже не стыдно, что моя душа полный банкрот и нечем, совсем нечем платить ни ему, ни кому бы то ни было иному за заботу, за беспокойство обо мне, за любовь... или нелюбовь.

Еще слишком рано, рынок пока закрыт для покупателей, но нас с Митей пустили — его тут многие знают, уважают, а кто-то из рыбаков даже считает себя его другом, как Марсель, с которым они сейчас оживленно разговаривают и смеются. Митя покупает у него устриц и какую-то рыбу и все оборачивается и смотрит на меня, как будто боится, что я могу исчезнуть, улыбается мне немного печально, ободряюще кивает.

Я отвернулась от его обеспокоенного взгляда и снова принялась смотреть на море. Так гораздо проще, уж оно-то от меня ничего не ждет — плещется себе острыми пиками небольших холодных волн, проживая таинственную и непростую жизнь.

Ветру надоело играть только с морем, набережной и людьми, не обращающими на него внимания, и он принялся за нависшие над го-

ризонтом низкие темные тучи. Они нехотя, недовольно закопошились, подчиняясь этому проказнику, стали перемещаться громадными серыми телами, переваливаясь с боку на бок, распадаясь на большие клочья. И вдруг посреди туч образовалась большая прореха, сквозь которую вырвалось на свободу молодое, раннее солнце, и розовато-оранжевые лучи ударили мне в глаза, заливая радостным светом мир вокруг.

Несколько мгновений я не могла дышать, оторопев от прорвавшейся сквозь серость моего бытия яркой, слепящей жизни. Глазам стало больно, по щекам потекли слезы, и я их чувствовала!

Господи боже — я чувствую!

И тут же, испугавшись, что это мгновение прямо сейчас закончится, я сильно-пресильно зажмурилась, пытаюсь задержать, ухватить, остановить его... И вдруг осознала, что у меня замерзли пальцы рук. Пугливо-медленно я открыла глаза... солнце, посмеиваясь, так и падало мне в лицо оранжевым лучом! И я улыбнулась! По-настоящему! Честно, искренне! Подняла к глазам кисти рук и благоговейно рассматривала побелевшие от холода пальцы — я чувствовала, что замерзла! Понимаете — чувствовала!

МОЙ СЛИШКОМ БЛИЗКИЙ ДРУГ

Я развернулась к рынку... И на меня без предупреждения, как неожиданный удар, обрушились с невероятной силой и насыщенностью чувства, ощущения! Пронзительно кричали чайки, встававшие на крыло против ветра и зависавшие в небе, гортанно переговаривались торговцы-рыбаки, между делом посмеиваясь и отпуская сомнительные шуточки, переливался под лучами солнца колотый лед на лотках, поблескивали перламутровые чешуйки на рыбе, остро и пряно пахло морем и благородной рыбной свежестью.

И все это я чувствовала! Так невероятно, неправдоподобно сильно! После без малого пяти месяцев заточения в полном безразличии и бесчувствии, с такой ошеломляющей, на грани переносимости, силой, так мощно, яростно, бескомпромиссно на меня обрушилась жизнь!

И тут я натолкнулась на взгляд Мити! Его лицо, глаза выражали столь же сильные и мощные эмоции: откровенное потрясение, и неверие, и надежду, и огромную радость... Но еще в его взгляде была любовь!

Кажется, у меня текли слезы — не знаю, не важно. Я смотрела на него, улыбалась, и мне казалось, что ничего более потрясающего и прекрасного я никогда не проживала.

А Митя, не глядя, сунул изумленному Марселю пакеты с купленной рыбой и морепродуктами и уже спешил ко мне между рядами, оббегая людей, лотки, грузовые тележки, ящики с рыбой и льдом и ни на мгновение не отпуская моего взгляда.

Я Марта Галант. Никакой иностранщины, абсолютно русская барышня с обеих сторон — маминной и папиной до каких-то там замшелых колен предков.

Имечком наградила меня любящая мамулька, ну а фамилия, как водится, досталась от папеньки. Матушка моя, будучи молодой девицей с перебором романтизма, чувством социалистической справедливости и увлеченности, насмотревшись блокбастера тех времен под названием «Долгая дорога в дюнах», настояла, чтобы доченьку назвали именем главной героини. Основной аргумент:

— Пусть будет как Марта: такая же красивая, умная и заграничная, иностранная!

— Леночка, — осторожно возражал папа, — а ты хорошо помнишь, как эта твоя Марта страдалась, на кой черт нашей дочке такая судьба? Говорят же бабки: нельзя ребенка ни в чью честь называть.

МОЙ СЛИШКОМ БЛИЗКИЙ ДРУГ

— Да ерунда это! Сказки! — возмущалась мама и настаивала: — Ты помнишь, какая она была в конце фильма? Прямо Европа! Дома в выходной, а одета, как на выход, покрашена и на каблуках. Вот пусть и моя доченька станет умницей, красавицей, европейкой и живет в таком большом доме, в котором надо ходить только при параде!

Папа решил не спорить — ну Марта так Марта, что уж теперь! Сыночку старшему тоже повезло с имечком: уперлась мамуля — будет Лев, такой же сильный, красивый, вожак... Вот и ходим мы с братцем — Лев и Марта Галант! Ну прямо цирковые акробаты или дрессировщики. Кстати, папуля, посмеиваясь, уверял меня с младенчества, что с таким именем-фамилией прямая дорога в артистки, особенно эстрадного жанра, писатели-поэты или, в самом крайнем случае, действительно в цирковые.

С фамилией же связана целая легенда, как утверждают, вполне правдивая, даже где-то в архивах старинных задокументированная.

Жил в деревне Зайцы известный на всю округу и далее, аж до самого Великого Новгорода, плотник Пантелей. Знатный был мастер, великий умелец, такие чудеса творил топором, что люди ахали. И носил он простую фамилию

Кузьмин, впрочем, полдеревни были Кузьмины, как водится — родня дальняя да близкая.

А в те времена наладили царь Петр новый город возводить на болотах, у озера, значит, да и самое что чудное — флот строить, и отправил по всем селам и весям людей специальных сгонять на стройки те умельцев мастеровых да и простых мужиков на работы. Пантелея-то в первых рядах забрали, специально за ним в Зайцы посылный прискакал, наслышанный о мастере известном. Уж как Фрося, жена его, убивалась, когда мужик родной со двора уходил, как на погибель провожала. Да и то сказать — а куда ж! Мерли да гибли, да хворей смертных набирались на тех болотах мужики что ни день! Страх господень!

Может, и Пантелея судьба страшная не обошла бы, когда б не случай один. Прознал как-то царь-батюшка про мастера-плотника знатного. Уж как прознал, то неведомо — кто-то из соратников доложил, не иначе, да только царь-то прямиком в плотницкие ряды да как гаркнет:

— А ну, где тут мастер этот известный?

И глазом как сверкнет!

Пантелея ратники за шиворот пред светлы очи царя-батюшки и притащили. А Пантелей-то, хоть и страшно ему, был не прост, виду-то не подал, что боязно, не стушевался, по-

МОЙ СЛИШКОМ БЛИЗКИЙ ДРУГ

клонился до земли царю Петру и чинно так отвечает:

— Я мастер.

— Ну покажи дела свои! — приказал царь-батьюшка.

И так царю Петру работа Пантелея понравилась, что он его враз с собой забрал, вольную дал ему и семье его и отправил в страну чужеземную, называемую Голландией, учиться корабельному плотничеству да украшательству зодческому.

Страшно сказать, чего натерпелся Пантелей, по морю на корабле до той Голландии добираться, чуть все нутро не вывернулось, пластом лежал, еле на землю выбрался. Но ничего, добрался.

Чудные эти иноземцы оказались, но мастеровые, все как один, к тому же хозяева знатные, крепкие, и все у них не как у нас. Язык их Пантелей так и не освоил, только слова какие-никакие, да мастерам говорить и не надо особо, они делами да уменьем разговаривают. Много интересного узнал Пантелей, а когда вернулся, сам царь его напрямик на работу отправил и семью разрешил привезти поближе.

А однажды привел царь с собой господина какого-то иностранного — в парике крученом, в камзоле расшитом с кружевами на рукавах.

Царь-батюшка показывал ему дела свои, доки скорые, корабли строящиеся, так с осмотром они и добрались до Пантелея в его плотницком цеху. Иноземец рассматривал работу мастера и прицокивал да головой покачивал от удивления и восторга, все что-то лепетал не по-нашему, а приглядевшись к умельцу, так и ходившему в голландских одежках после приезда, понимаяще заявил:

— А-а, Holland!

Царь-батюшка как рассмеется да как хлопнет иноземца по плечу, что тот только крикнул да присел слегка, покраснев с испугу, а Петр-то наш и говорит:

— У нас умельцы получше иных будут!

И толмач, что рядом с иностранцем-то крутился, ему перевел, что царь говорит, а иноземец аж глаза выпучил от удивления и переспрашивает:

— Not Holland?

— Нет, не Голланд, — довольно сквозь смех уверил царь-батюшка. — Наш, государства Российского талант! У нас своих мастеров уникальных много! Не Голланд!

С тех пор стали Пантелея окликать не по фамилии, а все Голланд и Голланд. Сначала для смеху и вспоминая у костра артельного за похлебкой горячей, как царь-батюшка над ино-

МОЙ СЛИШКОМ БЛИЗКИЙ ДРУГ

земцем шутил да как тот глаза выпучивал. А потом так и прилипло, как исподнее после бани. Кто, спросят, старшой ваш? А ему в ответ: Пантелей Голланд.

Так и повелось, а потом уж и писарь-дурак в реестре записал вместо фамилии Кузьмин — Галант: и Пантелея самого, и жену его Ефросинью, и семерых их деток. Навсегда и остались Галант, и никуда не денешься, в государевых бумагах прописаны.

Несколько поколений продолжали мастеровую плотницкую династию Пантелея, а потом заделались купцами, перебрались в Москву: и в Европах торговали, и в Отечественную войну двенадцатого года все мужчины Галант воевали, и войска снабжали мануфактурой и едой, и столицу после пожара восстанавливали. В революцию семнадцатого никто из семьи не эмигрировал, все в России остались по идейным убеждениям... в ней и полегли. Семья была большая, в каждом поколении не меньше пяти детей рождалось — всех извели, кого в Гражданскую расстреляли, кого в тридцатые.

Чудом уцелел только дед Семен Петрович Галант. Его как ребенка из семьи врагов народа отправили в специальный детский интернат, а затем в ремесленное училище, где Семена и застала война. Ему шестнадцать было,